БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ

 Сегодня суббота, на рынок ехать. Утро хорошее выдалось, туманное, зябкое. Евдокия торопилась собраться: в половине шестого Виктор обещал заехать на своей кляче, довезти ее с товаром до рынка.

 Еще солнца не видно, только просветление в небе за оврагом, на той стороне, где дома кончаются. А овраг залит туманом по самые края, и кажется, что дом Евдокии — крайний на всем белом свете. Ей отчего-то понравилось это. Вот, подумала, хоть и на краю, хоть и помирать, должно, скоро, но хозяйство в порядке, и еще торговлю веду, прибыток с того имею. А как же? Тут распустись только, дай волю горлопанам этим, — она сердито подумала о муже, — так и разлетится все по перышку, не соберешь потом.

 Уложила в сумку клеенчатый фартук, горсть мелких денег для сдачи, кофту теплую, еду кое-какую, перчатку резиновую, паспорт, очки. Очки для важности больше, деньги-то считать она и так сможет, но от покупателей тогда больше доверия. Такая старуха дородная, важная, да в очках еще, тут не до шуток! Кадушка в сенцах дожидается, последняя из четырех, что тем летом заготовила. И еще ведерко нынешних, малосольных, попробовать надо, как пойдут.

 Ну где же Витька, куда подевался? И тут же подковы из тумана застучали, сначала глухо, а потом все слышнее. Подкатил к калитке, соскочил, вожжи на забор кинул. Виктор худой, будто из одних мослов сделанный, идет, на ходу подседает. И похмельный, не проспавшийся еще.

 - День добрый, — буркнул, глаз не поднимая.

 - Здоров будь. Пошто ждать тебя приходится, а? — сказала твердо, зло и сама подобралась, построжела от своего голоса.

 - Бочонок в сенях. Ведерко не трожь, сама понесу. — Как же, дай ему малосольных. Рукой, дурак, залезет, грязной.

 Поднялась за Виктором в сени. Он оглянулся виновато,

снял с бочонка деревянный кружок, черпачок взял со стены, с гвоздя, и, придавливая донышком, стал рассолу себе нацеживать. Выпил, утерся, сказал помягчевшим, грудным голосом:

 - Ох, рассольчик! Из-за него, можно сказать, и вожу-то тебя, даром почти что.

 - Ну-ну, даром! — она польщена была, конечно, хоть и виду не показала. — Грузи давай, и так припозднились.

 Виктор закрыл бочонок, и, валяя его с боку на бок, покатил с крыльца. Получалось неловко, рассол хлюпал, плескался на штаны ему, на землю. Она отвернулась, чтобы не видеть безобразия этого. Хлюпанье и кряхтенье стихли, Виктор крикнул:

 - Деда зови, нам не втащить!

 Пошла будить старика. Он спал чутко, вскочил тотчас.

 - А? Чего? — испуганный такой, даже жалко его стало, дурака бестолкового.

 - Помоги огурцы погрузить.

 Поддернул кальсоны, пальтецо набросил, засеменил к Виктору. По наклонной доске кое-как, ругаясь друг на друга, взгромоздили бочонок на телегу.

 Уже тронулись, старик остался стоять у калитки, потерянный какой-то, не знающий, куда приткнуться теперь. Он отдалялся вместе с забором, с мокрыми кустами шиповника у калитки. Потом туман сомкнулся за ними, осталось лишь небо сверху, посветлевшее, чистое, без единого облачка. Повернули, выехали на асфальт и покатились — застучали по нему легко, как во сне.

 А кобыла у Витьки старая, на переднюю правую приступает что-то тяжело. Уж говорила ему, лоботрясу, чтоб к ветеринару свел, да все без толку!

 Старуха вздохнула, кофту поправила. И как же оно дальше-то будет? Что ж, так все и пойдет разваливаться, пока не кончится совсем? А как иначе, ежели в головах ихних дурных порядку нету, так откуда ж ему в жизни взяться? Вот старик ее, Захарыч, чего он хотел всю жизнь, чего суетился? Хоть и слесарь простой, но вечно с газетами, в хлопотах, в делах общественных. И в уличком сколько раз подряд избирали, и письма все писал о беспорядках замеченных, о нарушениях. За хорошую жизнь, понимаешь ли, боролся! Покоя никому не давал, все соседи шарахались. Зато в газетке про него как-то написали, и грамот надавали кипу целую. Тьфу, дурак, злости просто не хватает! И она-то сама, Евдокия, сколько лет с ним сладить не могла. Как зайдется: «Ты-ы! Мещанка! Буржуйка недобитая!»

 Пока старость к нему не пришла, пока болезни не навалились. Поутих тогда, помалкивать больше стал, задумываться. И плакать ночами, а то и среди бела дня вдруг задумается, сядет в уголке и хлюпает, хлюпает себе.

 Телега катит, катит, она сидит сзади, ноги свесив, на дорогу смотрит. Уже большие дома начались. Тут, в городе, и туман вроде пореже. Машины заездили мимо, дымом завоняли. Люди вдоль домов ходят, собак прогуливают, делать им нечего. А то еще бегают, глаза выпучив, туда-сюда. И ладно бы мужики, а то же бабы: задницу кальсонами обтянут, и ну боками трясти, людей пугать...

 - Тпру! Стой, дура! — Виктор откинулся, вожжи натянув. Остановились. На перекрестке, перед ними, зашумели и поехали машины. Кобыла стояла понуро, ослабив правую переднюю, больную ногу.

 - Витька, сколько тебе говорено, к фельдшеру отведи!

 - А я куда еду? На блины к теще, что ли? — Виктор разозлился отчего-то. — Я сам, что ли, не вижу?

 - Видишь, да в толк не берешь.

 Дальше поехали. Асфальт бежит — убегает из-под ног, и так шатко, так нетвердо скользить над ним — свалишься, того и гляди.

 Вот и рынок. Слезла, огляделась. Машины рядами стоят, люди суетятся, ящики носят. За оградой, над площадью торговой, шум, ровный, деловитый, спокойный еще поутру. Небо бледное, высокое, жара будет. Церковные купола горят над крышами, рядом совсем.

 Виктор, в поводу ведя кобылу, прошел в ворота, старуха за ним. Становится она всегда в одном месте, в огуречном ряду, третьей с левого краю. Тут за спиной как раз ларек табачный приходится, и тень долго держится, до полудня. Виктор подставил доску, подвинул бочку монтировкой, и по доске спустил ее на землю, грохнул, едва не расколов.

 - Потише не мог?

 - Как же потише! В ней центнера полтора, в бочке твоей.

 Пока он закатывал бочонок на место, Евдокия поздоровалась с соседкой, что слева стоит. Матвеевна, из-за реки, с Ромодановских двориков. Худенькая, дробная, закутанная всегда до самых глаз. Но безотказная старушка, и за огурцами твоими присмотрит, и поторгует даже за тебя, если отлучишься.

 - Как жизнь, Матвеевна?

 - Хорошо, соседка, грех жаловаться! Дочка вот снова замуж устроилась...

 - Ей же под сорок лет уже?

 - Так что ж... Через газетку, знаешь, списываются теперь, одинокие кто.

 - И она что, по газете мужика нашла!

 - Ага, — Матвеевна заморщилась вся от улыбки. Нет, не нравится ей это. Да разве ж можно себя в газете предлагать? Бери, мол, меня, такую хорошую! Бог знает что творится...

 Взяла из телеги сумку, ведерко. Виктор мнется, не уезжает. На выпивку попросить хочет.

 - И не проси. Назад отвезешь, получишь.

 - Подумай, строгая какая! Не очень-то и хотелось, вообще-то.

 Сел, хлестнул вожжами, поехал. Евдокия достала из сумки фартук, очки. Из прохода меж ларьками ящик вытащила, с прошлой субботы тут дожидается. Поставила на торец, кофту сняла, постелила. Безмен разыскала в сумке, подергала, потрясла его, чтобы пружина помягче была, не застревала. Очки надела, перчатку на левую руку, кружок сняла с бочонка, И встала, большая, грузная, возвышаясь над соседями своими, заметная издалека.

 Народу прибывает. Подошла первая покупательница, очкастая, на тоненьких ножках, сощурилась, спросила, будто извиняясь.

 - Простите, почем огурчики?

 - Два пятьдесят.

 - А, простите, попробовать, можно?

 Ишь, пигалица, попробовать ей! Отрезала кружок, протянула с ножа. Та, взяла, пальчик оттопырив, положила в рот с опаской. Но подвигав губками, проглотив, заулыбалась:

 - Ой, вкусно как! Взвесьте, пожалуйста.

То-то же... Евдокия, накладывая в пакет огурцы, заметила:

 - Ты бы, милая, на картошку налегала... А то мужики-то, небось, стороной обходят?

 Та вздрогнула, посмотрела жалобно.

 - Ты на меня, старуху, не злись, я плохого не скажу.

 - Да-да, конечно. Спасибо...

 И зацокала — побежала, задиком завиляла. Ох, девка, девка...

 - Бабка, почем?

 Здоровый детина, толстый, улыбается широко, фиксами блестит. Не спросясь, полез в бочку, выловил огурец, захрустел. Замахнулась, чтоб по рукам его огреть, бесстыжего. Тот засмеялся:

 - Ну ладно, ладно тебе! Беру, два кило.

 На рынке шумно становится, суетливо. Отвесила подряд четверым, потом еще двое подошли, малосольных спросили. Хорошо день начинается. Фартук поправила, огляделась. Справа торгует какой-то мужик незнакомый, угрюмый с виду. Поглядел на нее, глаза отвел, не сказав ни слова. Ну и не больно ты нужен! Вон то ли дело Матвеевна, всякой малости рада. Покупают-то мало у нее, а все не горюет! Моргает себе, на солнышко щурится. Огурец вот из бочки достала, захрустела.

 Ага, вон еще тетка знакомая идет, каждую субботу покупает. Давай, давай сюда, милая...

 Над рыночной площадью, над людьми, вразнобой гомонящими, зазвякали вдруг жестяные, поначалу слабые, будто с неба падающие, удары. Людской гомон притих, удары зазвучали громче, протяжнее. Едва отлетал один звук, как другой нагонял его, подхватывал, упасть не давал, и все сливалось в гудении, волнообразном, низком, зовущем куда-то...

 Звонили в Георгиевском, к заутрене. Евдокия засобиралась.

 Грузно, вперевалку, двинулась к выходу, в ту сторону, откуда звонили. За воротами потише, попросторнее. По улице старушки бредут, тянутся к церкви. Да, сегодня святого Василия день. Не забыть племянника помянуть, будь он неладен. Перед ней ковыляет какая-то сухонькая, с клюкой, в три погибели согнутая. Вот страсть-то, не приведи господь! Обогнала ее поскорее, чтоб не видеть, но клюка все равно слышна, стукает да стукает сзади. Нет, уж, лучше в одночасье как-нибудь помереть. Или во сне, как матушка ее. Бегала весь день, потом в баньку сходила к соседям, спать легла и не проснулась утром. Уж как горевала она, убивалась по матери, сиротой оставшись, а теперь вот завидует. Не смерть, а подарок. Ну ладно, размечталась! Нечего. Как придется, так и ладно будет.

 Подойдя к храму, запрокинула голову, на купола перекрестилась. Поднялась по высоким, чугунного литья ступеням, наверху задержалась, вокруг посмотрела. Крыши, деревья, голуби вон летают...

 Внутри храма просторно, сумрачно, гулко. Встала слева от амвона, у богоматери с младенцем. Хор как раз затянул. Старушкам воздуху не хватало надолго, пение прерывалось частыми вздохами, всхлипами, — словно там, где хор, дети собрались, и плакали жалобно.

 Евдокия пригорюнилась, о детях подумала, которых так и не было у нее. Перед войной выкинула дважды, потом не беременела. Вот горе-то горькое, одной к старости оставаться. Тяжелое, в крупных складках лицо старухи обвисло, форму всякую потеряло. Она забылась, задумалась о своем.

 Лишь изредка, уловив краем глаза общее движение вокруг себя, она спохватывалась, крестилась. Архиерей вышел, за ним еще двое в рясах. Пошел, кадилом помахивая.

 Евдокии вспомнилось, как она, девчонкой еще, помогала матери огурцы солить. Как наяву, корзину на крыльце увидела, полную мокрых, вымытых огурцов. Матушка бочонок оттирает дерюжкой яростно, брызги во все стороны летят. Вот так она и все делала, будто жгло ее что.

 Огурцы мокрые в руках скрипят. Иногда, если совсем маленький или кривобокий, мать отдаст ей, чтобы съела, чтобы добро не пропадало. А ей и не хочется уже, но отказаться и жалко, и боязно, и она жует, жует, до того, что уже живот пучит.

 Мать закладывает огурцы, они пищат из бочки, словно живые. Рядом кучка вишневого и смородинового листа, укропа, еще чего-то, уже не помнит. Мать берет листья, стряхивает воду и перекладывает зеленью огурцы, слой за слоем. И еще соль: серая, влажная, как весенний снег, горкой лежит в тазике. Мать ладонью захватывает ее, бросает в бочонок...

 ...А служба все идет, неторопливо, в порядке торжественном. В оконца под куполом лучи бьют наискось, в них дымок ладанный течет, свивается, завертывается кренделями. Век бы так стояла, думала о своем...

 Рынок такой же многолюдный, но уже пыльный, утомленный торговлей. Матвеевна обрадовалась ей, навстречу шагнула, деньги протягивая:

 - Вот, гляди, наторговала твоих, на двенадцать рублев.

 - Спасибо, Матвеевна, дай бог тебе здоровья!

 Ну что, совсем немного в бочонке осталось, третья часть. А малосольных, так совсем на донышке. Теперь перекусить пора. На их месте уже солнце, надо тень искать. Вон тополь у ограды, толстый, корявый, и место рядом свободно. С ящиком, с сумкой пошла туда. Села, спиной к стволу привалилась. Голова шумит, кружится, как у пьяной. Порылась в сумке, еду достала. Много что-то денег, бумажек набросано. Дома посчитает, здесь не место, но выручка хорошая должна быть. Яйцо, лепешка, две картошины, огурец свежий. Жевала долго, старательно, хоть и не хотелось вовсе. А не есть, так и сил скоро лишишься, и что тогда? И так-то никому не нужна. Вот сляжет, потом помрет, пожалеет кто? Как же, дождешься... Захарыч сам не жилец. Соседи? С ними только и делала, что ругалась, наставляла их, дураков бестолковых. Тьфу! Даже, как огурцы она солит, и то неинтересно никому!

 Вернулась на место хмурая, — какая-то мысль тяжелая покоя ей не давала. Молча отвесила последние малосольные пареньку в красной майке, потом обернулась к Матвеевне и спросила зло, почти с угрозой в голосе:

 - Ты, слышь... Вишневого листа добавляешь, когда солишь?

 - Не-ет...

 - Ну и дура! То-то вот твоих и не берут почти. Добавлять надо, поняла?

 - Поняла...

 - Ну вот, то-то же...

 Уже под вечер, по оживленным субботним улицам, Виктор вез ее домой. Как и утром, старуха сидела спиной к лошади, свесив измученные ноги с телеги. На выбоинах дергало, щеки ее вздрагивали, голова клонилась все ниже и ниже. То ли усталость, то ли мысли невеселые одолели... Порою лишь спохватывалась, поднимала голову и оглядывалась растерянно, дороги в сумерках не узнавая.

 Лошадь к дому бежала, телега под уклон разгонялась так, что шлея кобыле мешала, и она неловко, в каком-то подобии галопа перескакивала, сама пугаясь своей прыти. Виктор, не обращая внимания на мучения лошади, даже не держал ее на спусках. Он, чувствуя близкую выпивку, веселел все больше, насвистывал.

 Скоро стемнело совсем, фонари зажглись. Еще поворот, другой — и она дома. «И как никуда и не ездила», — подумала старуха. Только и осталось, что в ногах ломота...

1989 г.